

возмущались ее недоступностью. Ведь лишь в 1983 году несколько глав из «Парохода...» были опубликованы в Израиле в книге Гехта «Простой рассказ о мертвецах».

В 1964 году Константин Паустовский писал в Гослитиздат: «Гехт был писателем большого дарования, мужества и чистоты. <...> Гехт писал сочно и лаконично. Наличие некой строгой и взыскательной доброты было характерно для его вещей, так же, как и наличие огромной его заинтересованности в окружающей писателя «быстротекущей» жизни. Гехт принадлежит к тем писателям, книги которых бесспорно требуют переиздания».

Через пятьдесят лет после смерти Гехта, через восемьдесят лет после выхода книги издательство «Книжники» в серии «Проза еврейской жизни» готовит к публикации книгу Семена Гехта «Пароход идет в Яффу и обратно».

Семен Гехт

## Пароход идет в Яффу и обратно

Одесские фрагменты

Представьте себе Болгарскую улицу на Молдаванке в Одессе. Два мальчугана насмотрелись библейских картинок, наслушались заманчивых рассказов о пастухах и виноградарях Святой земли, о дочерях Сиона, собравшихся у колодца. Мы клялись друг другу, бродя по Болгарской. Дворнички дети посылали нам в спину оскорбления. «Александр, мы поедem домой?» – «Поедем». Мальчики жмут друг другу руки, читают нараспев Бялика и ходят по вечерам на Большую Арнаутскую, в синагогу – клуб Явне. Ораторы зовут домой. Усышкин говорит о родной земле, Жаботинский рисует перед трахомными глазами мечтателей еврейские легионы, и семь братьев Маккавеев смотрят с упреком на обнищавший духом народ...

<...>

– Я также вырос в семье полусапожника-полумаклера, и мой отец Вениамин Бронштейн похоронен на третьем одесском кладбище.

– Правда, правда, – сказал я, – у нас там было четыре кладбища. На первом хоронили миллионеров и стотысячников; их укладывали в мраморные склепы с райскими изображениями на каменных плитах. Их отпевал кантор Маньковский, их навещали толстые старухи в черных шелках. Они приезжали сюда в лакированных экипажах.

– Господин Ашкенази, – вспомнил Броун, – господин Блюмберг, господин Хаес...

– А на второе кладбище свозили адвокатов, зубных врачей и торговцев с Привоза. Их отпевал кантор из Шалашной синагоги. Здесь не было склепов, но все же покойников размещали удобно...

– За зелеными оградами, – сказал Броун, – среди тенистых акаций... и сторожа обходили свои владения, прогоняя бродяг и влюбленные парочки.

– Третье кладбище, – продолжал я, – было далеко за городом, рядом с сумасшедшим домом, на глухой и скандальной слободке Романовке. В ужасной куче теснились бедняки и члены погребального братства; они жаловались, что нищие их разоряют. Наших бедных отцов хоронили быстро и бесплатно. Вместо акаций рос дерн, вместо гранитных памятников над убогими и неряшливыми холмиками возвышались деревянные таблички...

– И еще было четвертое кладбище, – сказал Броун, – кладбище для самоубийц, для тех, кого религия поставила вне закона.

– Для самоубийц и повешенных за революцию, – произнес я. – У моего ребе Акивы повесили дочь: она покушалась на жизнь киевского генерал-губернатора. Ее свезли на четвертое кладбище...

<...>

С годами мы стали забывать легенду о родине, а с первых дней Октябрьской революции и не вспоминали больше о Святой земле. Заброшен клуб «Маккаби» на Херсонской, клуб богатых юношей. <...> На Болгарской, в библиотеке имени Пушкина, собирается кружок революционной молодежи.

<...>

Мать видела во сне всех умерших родственников: Йосифа-кантониста, Хану-акушерку, известную в свое время тем, что у нее была легкая рука, и погибшую от родов, Иерахмиеля, сборщика податей, и самого Макса Францевича Воскобойникова, почетного

члена трех обществ: «помощи больным», «по обеспечению невест приданым» и нееврейского «общества покровительства животным», где его очень уважали и куда он пожертвовал тысячу мисок с цепочками. Миски привязывались к уличным деревьям, дворники заботились, чтобы всегда в них была вода, и бродячие собаки утоляли бы здесь свою жажду.

А сестры? Сестры видели во сне то, чего они так и не увидели никогда наяву: негорбатых молодых людей со стеками в руках и в накрахмаленных манжетах. Они целовали сестрам руки, занимали, не торгуясь, извозчиков с экипажами, снабженными резиновыми шинами, угощали их дамскими папиросами и глазированными фруктами и увозили ужинать в зеркальный, в бумажных цветах, японских фонариках и лампонах ресторан «Илиади».

<...>

В тот год мы увидели живого царя. Наш город праздновал двухсотлетие полтавской победы. На Куликовом поле поставили плохой памятник. Сам Николай Второй приехал его «освятить». Нас муштровали целую неделю. Попечитель всех городских училищ осмотрел наши черные костюмчики из сиротского сукна и грубые шинельки с зашитыми в сукно пуговицами. Носить пуговицы открытыми была привилегия гимназистов. Для этого нужно было быть сыном купца первой гильдии или принять православие. Мы же учились с Гордоном в Свечном училище. Оно называлось вторым казенным. Здесь проходили краткий курс практических наук, готовили конторщиков и бухгалтеров. Училище существовало на деньги свечного сбора. Нас поставили в самом конце поля, и царь проехал мимо нас в открытой машине. Старый инвалид с Георгиевским крестом вынырнул из толпы и бросился на землю перед царским автомобилем. Его обидели чиновники, он искал помощи у царя-батюшки.

– Царь-батюшка! – закричал инвалид. – Ваше императорское величество!

На него набросились со всех сторон. Дюжина приставов и полковников оттащила его в сторону, а царь очень испугался и уткнулся в угол машины.

Праздник кончился. Царь уехал в Петербург, а георгиевского кавалера посадили в Чубаевскую тюрьму. Об этом говорили

зубные врачи в своих салонах и адвокаты в кулуарах окружного суда. Об этом шептались лавочки, развешивая крупу и сахар, и школьники, играя на дворе в чехарду.

Среди других учителей был у нас Абрам Маркович Манылам. Он учил нас рисованию. Наши родители хотели видеть нас не художниками, а приказчиками, и потому рисование было необязательным предметом. Но в каждой роте есть свой запевала, и у нас был Александр Гордон. Его смешные рисунки и головы учителей, которые он лепил на дворе из глины, сделали его в наших глазах высшим человеком. Абрам Маркович Манылам любил поплакать; однажды он подошел к парте Гордона и обнаружил там полный ящик маленьких голов и фигур. Он рассмотрел еще сырую глину, поцеловал мальчика в макушку и заплакал.

– Кто знает, – сказал он и вздохнул. – Может быть, ты будущий Антокольский.

В детстве часто случаются чудеса. Как-то в зимний день учитель пришел с большим человеком. Большой человек был знаменитый скульптор из Парижа. Его звали Аронсон. Он взял Моисея, вылепленного Гордоном, покачал головой и пожал мальчику его грязную руку.

– О! – сказал Аронсон. – Надо учиться. Стоит.

Аронсон уехал, чудо ушло, а Абрам Маркович Манылам заболел. Уроки рисования прекратились. Мы зубрили историю «о наших предках-славянах», о Людовике Шестнадцатом, который разозлился на свой народ и навсегда покинул Францию, мы учили географию и готовились к двойной итальянской бухгалтерии. Покидая школу, мы шли с Гордоном на Чумку. Это была невысокая насыпь. Гордон говорил:

– Вот горы Иудей.

Мы гуляли по бульварной аллее, где цвели платаны, и оркестр играл венские вальсы.

– Вот Средиземное море, – говорил Гордон, показывая на Черное.

Мы кончили с ним школу в первый год русско-германской войны. Нам обоим было по тринадцать лет. Он поступил приказчиком к Дубинскому, я – к Бомзе. Он разносил по домам колбасу и сыр, а я стоял за прилавком с карандашом за ухом и с аршином

в руках. Когда магазин пустел, меня выгоняли на улицу зазывать покупателей. Я хватал их за полу, получал от них тумачи и затрещины.

– Дамочки! – кричал я. – Мамзельки! Мамочки!

<...>

То были годы русско-германской войны. Улица, на которой жил Гордон, называлась Мясоедовской. Когда повесили полковника Мясоедова, жители испугались: не обвинят ли в шпионаже и евреев? А улица была такая еврейская, что на босяцкой Косарке о ней говорили, будто там из водосточных труб капает чесночный сок. Улица часто плакала. Нищие, умеющие прилично выть на чужих похоронах, стали хорошо зарабатывать. У Гордона был среди родственников один скорняк, заседавший в погребальном братстве. Теперь, когда Гордон ходил по улице, о нем часто шептались: «Вы видите этого мальчика? Это – Гордон. У него рука в погребальном братстве».

<...>

Кончив работу, Гордон направился в клуб «Маккаби». Он раскачивал в руке крохотный чемоданчик, где лежал гимнастический костюм. Этот чересчур легкий чемоданчик не шел к его широким плечам и жесткой одежде. На нем были короткие сапоги, зеленоватые и грубошерстные галифе и грудастый френч.

Раскачивая чемоданчик, Гордон шел в клуб «Маккаби». Он не был его членом: для этого надо было считаться партийным сионистом. Гордон даже не был поалей-ционистом, членом рабочей сионистской партии. Он умело пользовался несолидностью своего возраста, чтобы брать у маккабистов все, что ему было по душе. Вот если была бы партия растревоженных библейскими сказаниями людей, он вступил бы в эту партию. Чего хотелось Гордону? Ему хотелось той жизни, чудесными рассказами о которой было сладко отравлено его детство: чтоб были горы, чтоб были шатры и водоемы, бараньи стада и виноградники, смуглые сионистские девушки и воины, сторожащие пустыню. Он брал у маккабистов все эти образы, они были куда лучше холодной белизны газетной экспедиции, типографских попоек и бесчисленных национальных ущемлений.

<...>

Главным в клубе «Маккаби» было для Гордона физическое возрождение евреев. Он был убежден, что такие, то есть не горбатые и не пораженные трахомой юноши не будут прятаться от погромов ни на чердаках, ни в подвалах. Клуб «Маккаби» был исходом из его печального детства, о котором он много будет вспоминать в Иудее по ночам, карауля пустыню. В клубе Гордон укреплял свою мускулатуру, выжимая гири, всползая на руках по отвесам гимнастических лестниц, прыгая, подобно дельфину, и опускаясь ласточкой в клубный бассейн. В этот день Александр собирался много плавать. Он расстался у входа в клуб с дождем и прошел в раздевалку. Там он нашел объявление о докладе. Раздеваясь, он спросил соседа, о чем доклад. Сосед сообщил: сегодня выступит сам председатель клуба, агроном Канторович. Он будет говорить о маккавейских батальонах. И сосед сказал:

– Кончено!

– С чем кончено? – спросил Гордон.

– С нашей бездеятельностью кончено. Сейчас не время разговаривать: мы не в синагоге. Если мы хотим получить свою землю, мы должны ее отвоевать. Наступило время осуществления мечты. Короче говоря: вы ничего не слышали о маккавейских батальонах? Мы будем драться против Турции. Владимир Жаботинский сколотил в Англии несколько таких частей. Нам надо хлопотать о зачислении в эти батальоны.

– Как?

– Ну, подать, скажем, петицию в военное министерство. Вы запишетесь?

Гордон помолчал и ответил:

– Нет, не запишусь.

– Не запишетесь? – спросил сосед. – Не запишетесь? – повторил он вслед за этим несколько раз, накаляясь возмущением.

– Нет, не запишусь, – отвечал, забывая свой возраст, Гордон, – я ненавижу войну.

– Значит, вы не хотите умереть за Сион?

– Я согласен, – ответил Александр, – умереть за Сион, но не желаю, чтобы за него умирал тот, кому он не нужен.

– То есть?

– Я не хочу убивать турок.

– Послушайте вы, вегетарианец с Колонтаевской! – кричал сосед. – Вас же все равно скоро возьмут на войну. Надеюсь, вы не станете себе наращивать грыжу?

– Нет, не стану.

– Ну?! – вскипел сосед. – Значит, за русского царя вы готовы умереть, а за еврейское государство – нет?

Гордон объяснил:

– За царя я пойду умирать поневоле, тут же идет разговор о добровольцах.

Сосед закричал:

– Довольно! Я поставлю вопрос об исключении вас из партии.

– Я не в партии.

Сосед ударил себя от досады по затылку.

– Зачем же я с вами разговариваю? Как вы сюда попали?

– Меня рекомендовал Хаим Бялик.

– Хаим Бялик?! Откуда вы его знаете?

– Я работал у него в типографии, – ответил Гордон, – фальцевал бумагу.

Тут ссора потухла. Знакомство Гордона с Хаимом Бяликом успокоило маккабиста. Похлопав себя по спине, они оба пошли купаться.

<...>

В письмах пяти забранных на фронт фальцовщиков все неудобства войны были связаны с дождем. В последние дни в экспедицию часто приходила мать одного фальцовщика. Второй номер при шестидюймовом оружии был ее сыном. Она перестала получать от него письма. В эти дни русские войска покидали Галицию. Шло развернутое отступление из Червонной Руси. В очередях за керосином заметно прибавились траурные повязки. В экспедиции говорили: «Кончился второй номер». А мать второго номера приходила сюда плакать. Она плакала и мешала работать. Тюки и пачки летели через ее голову. Бумажный снег валился на ее нищенскую шаль. «Кончился второй номер», – сказал Гордону на улице его товарищ по работе. Он встретил его у клубных дверей. Под дождь товарищ рассказывал ему: сегодня днем мать получила письмо. А в письме было: «Ваш сын та-та,

та-та – под Журавой. Он похоронен в братской могиле». Затем следовала неразборчивая подпись полкового адъютанта.

<...>

Так Гордон дожил до девятнадцати лет. На улице была осень. В городе не было воды. Французы грузили свои пароходы. На заставах уже видели большевистскую конницу. Богачи платили десятки тысяч за иностранные паспорта и целовали ноги жадным судовым администраторам. <...> Но по городу разнеслась весть о декларации Бальфура. В тот день, когда Лоуренс обещал Палестину вместе со всей Аравией арабам, министр Бальфур обещал ее евреям.

Тут случилась история с «Биконсфильдом». История случилась, собственно, не с «Биконсфильдом», потому что «Биконсфильд» был пароходом, а с семьей Цигельницких, пожелавшей на него попасть. Они заплатили две тысячи рублей в долларах судовому механику английского торгового парохода «Биконсфильд». Механик взял эти деньги и через час пришел за новыми. Он загнал семью Цигельницких в трюм и старался о них не забывать, пока не двинется пароход.

– Еще пятьсот, – говорил он по-русски, спускаясь в трюм.

– Одним словом, – жаловался старый Цигельницкий, – чем я ближе к могиле, тем я делаюсь опытнее. Теперь я знаю, что и среди англичан есть шантажисты и взяточники.

Цигельницкие не врали, когда говорили, что у них больше нет денег: они никогда не были богачами. В доме Блюмбергов их не принимали. Функель тоже дал им понять, что птица запела слишком рано.

– Это скандал, – возмущался в обществе признанных богачей Функель, – несчастные люди с трудом скопили жалкую тысячу рублей, и они хотят уже считаться богачами. Я же не лезу в главнокомандующие, несмотря на то, что я тоже умею ходить в ногу.

Гордон был соседом Цигельницких и хорошо знал, как они скопили свои две тысячи рублей. Старый Цигельницкий служил в течение десяти лет «зиц-редактором» в большой либеральной газете «Эхо Юга». Примерно раз в год к нему приходили из редакции и сообщали, чтоб он приготовил себе чистое белье. Это означало, что в газете появилась какая-нибудь смелая статейка,

и губернатор приговорил ответственного редактора к трем месяцам тюрьмы. Цигельницкий, подписывавший газету и получавший за это шестьдесят рублей в месяц, отправлялся сидеть.

Еще не уставшие остряки спрашивали его иногда на улице:

– Скажите, мосье Цигельницкий, почему у вас сегодня такая скучная газета? Вы, наверное, жалеете денег для Жаботинского?

– Ах, я не знаю, – отмахивался Цигельницкий, – разве Жаботинский перестал писать?

Он был настолько не любопытен, что за все десять лет даже не развернул газету, которую подписывал. О Жаботинском он знал от детей. Он часто слышал, как они читали его фельетоны и похоронные речи в стихах.

Семья Цигельницких состояла из пяти человек. Как же случилось, что в тюрьме «Биконсфильда» их оказалось шесть? Неужели мадам Цигельницкая спешно родила?

Шестым был Гордон. Он слышал от Цигельницких, что они бегут на родину со всеми богачами, что у них есть место на пароходе «Биконсфильд», который пойдет в Константинополь и Яффу. Потом он видел сумятицу, какая была в городе.

В Яффу?

Ожила ослабевшая фантазия. Снова стали тесниться в голове лиловые высоты Святой земли и склоненные выи иорданских тростников. Вот она, перед глазами, золотая кожа сионских дочерей, пляшущих под голоса тимпанов и бубен. Яффа – ворота обетованного края, родина первой гимназии, удачно возродившей забытый язык. От Яффы расходятся песчаные дороги и каменные тракты на Газу, на Иерусалим, на Кайфу, на Хеврон, на Сихем.

Несбыточное стало для Гордона возможным. Надо только попасть в трюм «Биконсфильда». Неужели этот еврей, бывший английским министром и аристократом и ставший пароходом, не позволит ему притулиться в одном из уголков своего большого и теплого брюха? И Гордон примкнул к Цигельницким, не сказав им ничего об этом.

Они отдали все свои деньги судовому механику и в порт тащились пешком, волоча за собой свои корзины с женскими кофтами со стеклярусами, множеством филактерий и запасами нюха-

тельного табака. Когда механик увидел их, окруженных скарбом, он высокомерно на них посмотрел и не стал даже пересчитывать. Зато он слишком часто навещал их в трюме.

Выйдя из дому, Гордон завел со старым Цигельницким разговор об Уганде и о иеменских евреях. Гордон начал с того, что Израиль Зангвиль – человек, лишенный сердца.

– Скажите мне, – негодовал он, – зачем он хватается за Африку? Я знаю, что он тоже хочет, чтоб евреи были земледельцами. Но разве все равно, какую землю обрабатывать?

– Он потерял еврейского Бога, – ответил старый Цигельницкий, довольный негодующими речами юноши.

– Нет, – продолжал Гордон, – не Парагвай и не Уругвай, а цветущие ячменем и пшеницей поля Хеврона.

– Поля Хеврона! – вздыхал старый Цигельницкий.

Когда они подошли к пароходу, старик хотел спросить Гордона: «Молодой человек, а ты куда?» – но увидел безумие в его побелевших глазах. Если бы механик спросил: «А это кто? Тоже твой?» – тогда другое дело! Он сказал бы: «Нет, он чужой, он прицепился к нам. Берите его, господин». Но механик ничего не спросил.

Они сидели в трюме два дня и две ночи. Пароход должен был тронуться на рассвете третьего дня. Накануне пришел в пятый раз судовой механик.

– Еще двести, – сказал он злобно, огорченный тем, что эти евреи его так безжалостно надули. Другие брали с них по десять и по двадцать тысяч.

Гордон не слышал, что ответил ему на это требование Цигельницкий. Душный воздух трюма сжал его дыхание и заволок холодом бессилия его глаза. Он упал.

Соседи настояли, чтоб его взяли в судовой лазарет.

Он пробыл там целые сутки и очнулся. Когда пароход уже сделал сто узлов и растерял берега, он снова спустился в трюм и не увидел там Цигельницких. Судовой механик продал в последнюю минуту их места за двадцать пять тысяч рублей. Их сбросили на берег за десять минут до отхода «Биконсфильда».

<...>

Снова очутившись в трюме, Гордон стал понемногу знакомиться с его обитателями. В грязи и вони валялись среди кулей

и тюков хорошо одетые мужчины и дамы. Уже многие, видно, начали успокаиваться, и в дальнем углу кто-то играл в карты, а одна дама умудрялась даже флиртовать в этом смрадном месте, непригодном для кокетства и легких разговоров. Гордон ее знал. Она была эстрадной балериной и прославилась исполнением танго. Неталантливая, но красивая танцовщица никогда бы не увидела роскошной жизни, если бы в студию, где она училась, не заглянул случайно рыжебородый и чахлый Меерсон, владелец двух оптических магазинов на Преображенской улице. Он увидел ее и сразу влюбился в белоглазую Эмму Зегер, бедную ученицу второсортной студии. Он предложил ей переехать к нему на дачу. «Кстати, она расположена в Аркадии, на берегу залива, рядом с морскими ваннами. Кстати, там есть свободная комната. Стоимость комнаты? Потом! Мы сочтемся потом, когда вы станете знаменитой, и я потребую все деньги сразу за все время! О, я на вас прекрасно заработаю». Балеринка сказала, что она не согласна, нет, ни в коем случае. Это, наконец, неудобно. Через час она уже сидела в саду на даче Меерсона, и он раскачивал ее шезлонг. Затем он предложил ей прокатиться с ним на его собственной моторной лодке, и Эмма Зегер снова сказала, что не согласна. Так она пять дней отказывалась от всех предложений и делала все, что он у нее просил, а на шестой стала его содержанкой и вдруг всюду заговорила с гордостью о своей связи. В ее дом ходили владельцы конфекционов с Александровского проспекта, меховщики с Еврейской улицы, содержатели немецких баров с Малой Арнаутской, офицеры и театральные рецензенты. За короткий срок она изменила ему четыре раза, но Меерсон считал, что Эмма только один раз его обманула, и кое-как с этим примирился.

Когда Эмма Зегер купила себе за два бриллианта место на пароходе, Меерсон лежал в больнице. Она скрыла от него свой побег, но все в городе это знали. Знали и на пароходе, в трюме. Меховщики и владельцы конфекционов оглядывали ее с презрением, а их жены неумолчно ее ругали, возмущаясь и гневно перешептываясь. Еще обидней было то, что балерина, так дорого стоившая коммерсанту Меерсону, кокетничала с приказчиком из кондитерской Либмана. Сам Либман сидел тут же, на бочке с маслом, и злорадно посмеивался, говорил про себя, что он –

убежденный циник и его «радует всякое человеческое неустройство, каждая ерунда, глупость и чепуха на нашей сверхдурацкой, архиидиотской и наикретинической планете».

Однако в трюме ожили немногие. Перебираясь через ящики и бочки и бродя по всем закоулкам трюма, Гордон видел удрученные и злобные лица. Кто-то плакал, кто-то неистово проклинал. Уже ругали больше французов, чем большевиков. «Это же понятно, – возмущался меховщик Гантили, – большевики – это большевики, и что с них возьмешь? Но союзники! Французы! Англичане! Ведь на них-то можно было рассчитывать»... И все собравшиеся в трюме коммерсанты в горе своем радовались, что вот они, коммерсанты, оказались доверчивыми, а союзники – подлецы. Всюду, за каждым кулем и бочкой, слышал подобные разговоры Гордон. Одесские буржуа, лишённые удобных квартир и прислуг, вели себя на редкость нечистоплотно, и Гордон удивлялся грязи и вони вокруг них. Почти никто не умывался, не ходил дышать свежим воздухом на палубу, и странно было видеть в этой смрадной клоаке, наполненной гниющими объедками и испражнениями, чистую и надушенную Эмму Зегер.

<...>

– Мистер Броун, – попросил я, – вы там были, расскажите о Тель-Авиве.

– Что вы о нем знаете? – сказал мистер Броун.

– Очень мало. Я знаю о нем только то, что лет двадцать назад сионисты выстроили на пустом месте, на береговой полосе в полутора километрах от Яффы еврейскую гимназию. После декларации Бальфура здесь возник большой город, столица. В самом ли деле он так велик и красив?

– Вы хорошо знаете окрестности Одессы? – спросил Броун.

– Еще бы, – ответил я, – и Чубаевку, и Пересыпь, и Ярмарочную площадь, и Лазуновку, и Большой Фонтан, и Средний, и Малый, и Хаджибеевский лиман с Куяльницким, Аркадию, и Дофиновку...

– А вы бывали когда-нибудь в поселке Самопомощь?

Я вспомнил, что в детские годы мы часто туда ходили с Гордоном. Надо обогнуть Куликово поле, миновать Ботанический сад и выйти в степь. Слева – море, пожирающее берега, скудные холмы, разломанные скалы, красноватые оползни. Справа – степь,

где растет подсолнух и запуталась в своих волосах кукуруза. Жара, соленый ветер. Мы проходим с Гордоном четыре километра, и в степи возникает нарядный городок. Лают собаки из-за чугунных ворот, цокает экипаж, иногда покажется высокий каретообразный автомобиль, стучатся в двери кухонь молочницы. Я запомнил ряд зеленых улиц, главная называлась Каштановой – там росли каштановые деревья; если попадешь туда осенью, так и ходишь по каштанам, и топчешь их, и расшвыриваешь вокруг себя. Здесь не было ни одного доходного дома; в Самопомощи жили акционеры, управляющие банков, известные врачи, знаменитые адвокаты. В каждом доме – хозяин с семьей, дочка играет на рояли, на окнах – жалюзи, в кухнях – кафельные полы, много прислуги, в садах – шезлонги, и мальчуганы в длинных костюмчиках играют в серсо и крокет.

Все дома были сложены из белого известнякового камня, в каждом доме – два или три этажа, черепичная крыша, мансарда в парижском вкусе. У чугунных ворот – медные таблички: Исай Павлович Купервассер, Иосиф Ильич Зак, Израиль Львович Хейфец, Абрам Яковлевич Штейнберг... Каждое утро прислуги натирали таблички мелом...

– Правильно, – сказал мистер Броун. – Когда же многие жители Самопомощи перебрались в Палестину, они построили там большую Самопомощь. Вообразите ряд широких улиц, укатанных гравием, посреди – электрические столбы, а по обеим сторонам – именно такие двухэтажные и трехэтажные дома. Есть улица Ахад-Гаама, улица генерала Алленби, есть бульвар Ротшильда. На бульваре Ротшильда – соломенные скамейки, пальмы, музыка. На морском берегу – большой пляж, много спортсменов, ресторан. Всюду звучит древнееврейская и русская речь. Говорить на жаргоне неприлично и преступно. Конторы, магазины, мастерские. В Тель-Авиве нет ни одной фабрики, впрочем, в последние годы там появилась труба. Было много шума по поводу открытия кирпичного завода. А сколько медных табличек! Сколько адвокатов, врачей, преподавателей и дантистов! Они могли бы обслужить полумиллионный город, а в Тель-Авиве – около сорока тысяч жителей.

<...>

Все спрашивали друг друга:

– Вы не видели начальника порта?

Кто-то пробежал по молу с узелком в руке.

– Понимаете, – крикнул он на ходу, – я уже полчаса ищу начальника порта.

– Когда же он наконец придет?

В гавани собралось множество пассажиров. Они проводили здесь третьи сутки, то уходя в город за покупками, то снова возвращаясь. Четыре парохода стояли у причалов, готовые к отплытию. Море буйствовало. Валы перекатывались через волнорез. Не переставая ревел ураганный ветер. Шторм на Черном море продолжался три дня. Все надеялись, что он с минуты на минуту должен утихнуть, но ветер усиливался, рос накат, все белей и белей становилась пена прибоя. Начальник порта сказал, что не выпустит ни один корабль. Злые и сонные бродили по гавани пассажиры: их ждали в Николаеве, в Батуме, в Пирее.

Кроме них столпились в порту и встречающие. Пять кораблей маялись в открытом море. Ураган мешал им войти в порт, и родственники тревожились о судьбе плененных бурей пассажиров. Начальник порта стал здешним богом. Время от времени он получал отовсюду сведения, принимал радиogramмы с блуждающих пароходов, и стоило ему появиться в своей конторе или на молу, как к нему сразу бросались десятки людей, засыпая его вопросами.

– Ну что, товарищ начальник? Какие сведения?

– Двенадцать баллов, – сурово отвечал начальник порта, безнадёжно оглядывая всю толпу.

Пять больших кораблей маялись в открытом море. Два шли из Батума, один из Николаева, четвертый возвращался из кругосветного путешествия, нагруженный электрооборудованием и рыболовными снастями, а пятый плыл из Порт-Саида. Ураган настиг их внезапно. Ночью море разыгралось, семь баллов быстро перешли в девять и одиннадцать. Суда были недалеко от Одессы, когда сила ветра достигла двенадцати баллов, а крен дошел до сорока градусов. Они не успели вовремя проскочить в порт и теперь ждали, как и люди на берегу, успокоения погоды. Радиogramмы сообщали об оголенных винтах, о сорванных ветром шлюпках, нехватке угля. В порту обледенели все канаты

и причальные тумбы. Люди шли, прижимаясь к стенам, но ветер все же отрывал их от земли и кружил по пристани, смешно вздувая одежды.

Находились дураки, которые в толпе матерей и женщин заводили разговоры о всевозможных кораблекрушениях, случившихся в разные времена в разных портах. На них смотрели с презрением, от них убегали, как от злодеев и прокаженных. Наоборот, настоящие моряки весело утешали публику, часто повторяя, что этот шторм еще не самый высший и что в их жизни бывали похуже.

Наконец появился начальник порта. Он зарос бородой, словно дал обещание не бриться до тех пор, пока не уляжется море. В руках он держал таинственную сводку со сведениями.

– Ну как, товарищ начальник?

– К вечеру успокоится, – ответил он. – Есть приятные сведения из Новороссийска и Севастополя, там начинается затишье.

Как развеселилась гавань! Все радостно толкали друг друга, повторяли:

– Вы слышали? Начинается успокоение!

– Ну да, затишье!

Жадно всматривались в морские дали, и хотя так же буйно свирепствовало море и гулял ветер, и яростно белела пена прибоя, люди убеждали друг друга, что они видят, как уменьшились гребешки и как – вы разве не чувствуете? – ослабевавет ветер. Нашлись добровольцы-гонцы, они ежечасно бегали на радиостанцию, и на пристани стали их встречать так же внимательно и восторженно, как и начальника порта. Изучали полет птиц, гадали по ним, как и по флюгеру на вышке Дворца моряка, стоявшего на бульваре, над красноватым и чуть заснеженным обрывом. Приумолкли хвастливые дураки. Вдруг все стали пить чай. Пили весело и шумно. Шутки, которые ранее выслушивались молча и недружелюбно, начали пользоваться успехом. И опять:

– Вы не видели начальника порта?

– Когда же он наконец придет?

Образовались маленькие коммуны. У одного был в избытке сахар и чай, между тем как у его соседей они давно иссякли. Угощали друг друга, делили продукты, переходили с «вы» на «ты»,

записывали батумские, николаевские, севастопольские, пирейские, стамбульские адреса и телефоны.

Пассажиры и встречающие ждали вечера. Я ушел в город и, когда зажглись первые огни, снова спустился в порт. Действительно, шторм ослабевал, но корабли еще было запрещено выпускать из гавани. Пошел слух, что ночью в порт смогут войти блуждающие за рейдом пароходы. Начальник сообщил публике: первым причалит пароход «Декабрист», идущий из Порт-Саида.

– Мой сынок! – вскричала женщина.

Я оглянулся и увидел старую-престарую еврейку, закутанную в два шерстяных платка.

– Мой сынок на этом пароходе, – сказала она, схватив за руку начальника. – Он работает в кочегарке. Вы, должно быть, его знаете. Моя фамилия Эпштейн.

– А! – произнес начальник порта и прошел дальше.

Заметив мой внимательный взгляд, старушка подсела ко мне и рассказала мне в нескольких словах жизнь сына. Он кончил мореходное училище, уже два года плавает на «Декабристе», он будет помощником старшего механика. Она всегда выходит его встречать. Грех жаловаться, он не забывает старую мать. Она раньше сама зарабатывала себе на жизнь, но он ей запретил. Видите ли, она торговала на Привозе, у нее был самовар, она варила в нем пшенку и продавала детям, но сын не хочет, чтобы она занималась такими делами.

<...>

Распроставшись со швеей, я двадцатый или тридцатый за эти дни раз поднялся в город и вернулся в порт поздно ночью. Еще сверху я разглядел освещенную прожектором толпу и великую суету на молу. Когда я спускался по лестнице, протяжно и величественно загудел гудок. Я заметил движущиеся огни – пароход входил в гавань.

<...>

Я побежал к причальной пристани, где шумно возились портовые рабочие, волокли сходни, и охрана оттесняла со всех сторон напившую толпу.

– «Декабрист» пришел! – кричали люди. – Через двадцать минут войдет «Ильич». Я вас очень прошу, пропустите, пожалуйста: ваш сын же не на «Декабристе»! Пропустите!

– Спокойно, товарищи, спокойно, – голосили охрипшие стрелки портовой охраны.

Пароход медленно поворачивался в бухте, осторожно подплывая к пристани. Кто-то снизу бросил концы, кто-то наверху подхватил. Все радостно кричали вокруг: и на корме, и на носу, и на молу.

<...>

[В это же время в Палестине вспоминают об Одессе. – А. Я.]

Кто знает, может быть, права народная пословица, гласящая, что хорошо только там, где нас нет. Возвращаясь домой, старый колонист признался, что хотел бы на один день – хотя бы на один день – заехать в Одессу и посмотреть, что делается на местах его детства и ранней юности. Кто же поселился в доме Ашкенази на Воронцовской улице и на ее божественной даче в конце Французского бульвара, над красноватым обрывом, заросшим ароматным терновником и высокими полынными кустами? Кто живет в доме Блюмберга, Хаеса, Кондиаса? Кто торгует в магазинах Пташникова, Бомзе и Дубинского? Кто работает и управляет на заводах Гена, Попова и в доках Ропита, и на складах Юротата?купаются ли еще в Горячей Луже на Пересыпи, у мельницы Вайнштейна? Что стало с богатыми болгарскими огородами на полях орошения? Что делается на Куликовом поле, на Толчке, на Косарке, на Бугаевке, на Ярмарочной площади? Кто вдыхает запахи сирени, акаций и маслин на дачах Вальтуха, Цудека, Маразли и Натансона? Кто сидит в Городской думе? Кто поет в Городском театре? Кто бродит по Хаджибеевским горам и кто гуляет по саду Трезвости? На Еврейской были меховые лавки, а на Малой Арнаутской – немецкие трактиры и постоянные дворы. Кто там сейчас? На Старорезничной играла в театре Болгаровой Эстер Каминская, на Прохоровской гудела мельница Инбера, в Городском саду управлял оркестром Прибик. Что там сейчас? Стоит ли еще дом на Мясоедовской, 14? В том доме был колодец и хедер. Дети из хедера прозвали колодец священным и рассказывали о нем множество легенд.

На джутовой фабрике часто случались драки, а на Кривой Балке было так жутко, что ночью сюда боялись ходить даже портовые рабочие – люди отчаянные и бесшабашные...

Волна воспоминаний оказалась сильнее и быстрее волны шлюзовой. Вспоминая, старый колонист из Кадимо чувствовал, как он тоскует по родине и как растревляет воспоминаниями рану своей тоски.

<...>

Жил в Одессе в конце девятнадцатого века агент колониальной фирмы Соломон Халлаш. Имел контору на Греческой улице, где на прохладных полках лежали запечатанные пакеты с рисом, перцем, кокосовыми орехами, финиками и стояли бутылки, наполненные старинными винами. Соломон Халлаш брал с собой каждое утро груды пакетов и бутылок. Он называл их образцами и разносил по городу вместе с роскошными многоцветными, богато разрисованными прејскурантами. Копил деньги, скупал ковры и мебель, воспитывал детей. Путь юного Ильи старый Халлаш усеял взятками, как розами. Была в четвертой гимназии четырехпроцентная норма, но Соломон Халлаш дал полицмейстеру сорок рублей, а директору гимназии вручил сотенную. Сына допустили к экзаменам. Когда Соломон Халлаш узнал, что два преподавателя собираются провалить его мальчика, желающего поступить в третий класс, то пригласил обоих преподавателей к себе на ужин. Они в тот вечер пили и ели, как никогда в жизни. Вернувшись домой, каждый обнаружил у себя в передней ящик с вином и конверт с запечатанной в нем двадцатипятирублевой. Легко было учение молодого Ильи Халлаша. Он всходил на взятках, как на дрожжах, и цветущей была колея его жизни. Сын кончил гимназию. А по дороге в университет можно было пройти только тому, кто плотно утрамбовал ее взятками. Старый Халлаш дал полицмейстеру сто рублей, попечителю учебных заведений – сто тридцать, трем профессорам – по пятьдесят, и ректору Новороссийского университета – триста. Перед зачетами все профессора получали мешки с кокосовыми орехами и ящики с вином. Так молодой Илья кончил юридический факультет, так он сделался секретарем у известного адвоката Валерия Станиславовича Маглай-Ягузинского, которому отец вручил чек на пятьсот рублей. Так Илья Халлаш сделался помощником присяжного поверенного. Так он сделался адвокатом. Был еще жив отец, и вместе с сыном они поняли,

что молодой звезде не хватает сияния, то есть славы. Они пригласили на ужин двух фельетонистов из «Эхо Юга» и «Черноморского листка». Откупоривая бутылки поммери (марка шампанского. – А. Я.), оба фельетониста привычным взглядом заметили под тарелками с салатом по семьдесят пять рублей. Через три дня появились два судебных отчета о деле наследников Вальбе, разбиравшемся в окружном суде. Журналисты с восторгом отмечали выдающиеся способности молодого адвоката. В «Эхо Юга» статья была озаглавлена «Новый Плевако», а в «Черноморском листке» – «Редкий дар красноречия». Глупый народ поверил газетам, и с тех пор дело наследников Вальбе стали называть нашумевшим. Илья Халлаш прославился. Густо пошли к нему клиенты, и через несколько лет он выстроил для себя в поселке Самопомощь, на пятой станции, каменный коттедж, крытый черепицей, с четырьмя террасами, двумя длинными и узкими, отлитыми из цемента бокалами на фасаде, и садом, где росли каштаны и маслины, где на деревьях повисли гамаки и на дорожках были расставлены шезлонги. Он пожертвовал для общества помощи бедным пятнадцать рублей, для «Капли молока» – двадцать, и столько же внес в Погребальное братство и Общество помощи больным. Так он прослыл благотворителем. Затем он купил на пятьдесят рублей шекелей и произнес речь в синагоге Явне. Так его стали уважать в сионистских кругах. Уже у него родился сын, уже сын пишет стихи о Сионе, но редактор журнала «Щит Давида» сказал, что стихи плохи и их нельзя напечатать. Тогда адвокат навестил редактора-издателя и заявил ему, что согласен подписаться на сто экземпляров, если тот будет более внимателен к его сыну. Стихи были напечатаны. Так жил в Одессе известный адвокат Илья Халлаш.

Сейчас Гордон стоял у ворот его дома на улице Алленби. Он с удивлением рассматривал знакомую обстановку. Покинув Одессу, адвокат выстроил здесь тот же дом, с теми же бокалами на фасаде, с той же крышей и террасами и разбил такой же сад, в котором, правда, было больше маслин и росли четыре пальмы. Кто-то полулежал в шезлонге, кто-то качался на гамаке, кто-то играл на рояле. Двор был укутан гравием, по дорожке бегала маленькая собачонка, откормленная и голая.

<...>

Гордон шел обратно в Тель-Авив, и его душа была полна грусти и мечтаний. Ему захотелось вернуться этим пароходом в его родной и давно покинутый город. Он обдумывал всевозможные планы и видел сны наяву. Мечтая, он воображал: снова произойдет случайность, он каким-то образом – неведомо каким – снова очутится в трюме и проваляется там четыре дня, а затем выйдет на палубу и увидит родную землю, которую он обманул. Вот волнорез. Вот яхт-клуб. Вот Николаевский мол и Арбузная гавань. В море вонзился желтый Дофиновский мыс. Лежит в огнях и дыму Пересыпь. Он поднимается по лестнице, встречает старых друзей... Что потом? Тут мечты обрывались. Дальнейшее было темно, неразлично.

<...>

Буран улегся, сияло солнце, сквозь зимний холод люди чуяли запахи весны. Двадцать четыре человека сошли один за другим с трапа «Декабриста». Вся пристань беспорядочно шумела и кричала. <...>

И в ту минуту я увидел Александра Гордона. Он растерянно оглядывался, медленно спускаясь по трапу. <...>

– Александр! – заорал я. – Александр!

Он заметил меня, рванулся через толпу, но рассерженный стрелок разъединил нас.

– Отойдите, гражданин, – сурово сказал он. – Стыдно! Кричите, как... Вы же не мамаша! Всю выгрузку испортили!..

Но через пять минут мы нашли в толпе друг друга. Мы расцеловались, и я забросал его вопросами.

– Потом, – отвечал он растерянно, – потом. Как ты узнал, что я приеду?

<...>

Скоро пристань опустела, и Гордон подошел со мной к своим попутчикам. Они стояли у своих чемоданов – черные, бородатые, нездешние люди. Они окружили рослого человека в шубе, представителя Озета, как я узнал после.

– Тише! – кричал рослый человек. – Сейчас будет автобус! Подождите!

<...>

Мы сели в автобус. Все жадно смотрели через оттаявшие окна, толкали друг друга.

– Это Карл Маркс? Да?

– Здесь же стояла Екатерина...

– Сабанеев мост! Смотрите, Сабанеев мост! Вот тут жил персидский шах...

Многие узнавали улицы и дома, где родились, жили, учились. Увидели шествие детей с барабаном – удивились. Увидели статую Ленина в нише бывшей Биржи, красный флаг над зданием, где была синагога Бродского. Все время удивлялись, толкая друг друга, что-то кричали, вспоминали.

<...>

Автобус кружил по городу, и нездешние черные люди никак не могли оторваться от окон. Узнавали Косарку, Толчок, Степовую, Водопроводную, Запорожскую.

– Арон! – закричал один. – Ты знаешь, где мы, Арон?

– Я знаю! Мы – дома!

– Мы – дома, – повторил третий. – Это же наша родная земля.

Я показывал Гордону, объяснял. Он должен помнить – здесь не было никакого сада. А Прохоровская улица? Она вся в цветах. Видел ли он когда-нибудь цветы на Прохоровской? Дом градоначальника? Его сломали. Да, он был на этом месте.

– Хорошо, – сказал Гордон, – я сниму бороду.

Когда нездешние люди немного успокоились, рослый человек из Озета сообщил им, что они пробудут здесь пять дней, потом поедут в Москву и оттуда – в Биробиджан. Их отправят с большой новой партией, на днях туда выезжают двести семей.

<...>

Мы вышли из кафе, и, бродя по ясной Одессе, Гордон вспомнил старого колониста. Он был первый, кто захотел домой, но смерть преградила ему дорогу в обетованную страну. Так в древние времена встала она на пути легендарного Моисея. Старый колонист хотел знать, кто живет на даче Ашкенази, в конце Французского бульвара. Я показывал Гордону: дачу еврейской миллионерши соединили с дачей греческого магната Маразли и сделали санаторий для рабочих. Я знакомил его с шахтерами, в задумчивости бродившими над красноватым

обрывом, заросшим ароматным терновником и высокими полынными кустами. «Кто живет в доме Блюмберга, Хаеса, Ксидиаса?» – спрашивал перед смертью старый колонист. Я рассказывал Гордону: в доме Блюмберга живут его приказчики и сорок студентов, приехавших из сел. Дом Хаеса также заполнен разным рабочим людом, а во дворце Ксидиаса находится Дворец труда. В магазинах Пташникова, Бомзе и Дубинского по-прежнему торгуют мануфактурой, часами и колбасой; они называются кооперативами... Где бывшие хозяева? Не знаю. Ропита уже нет, есть Советский торговый флот, и им управляет Богун, бывший рабочий.купаются ли еще в Горячей Луже? Конечно, нет. Ее осушили, а наш народ уже не так глуп, чтоб искать целебных свойств в сточных водах. Сейчас он всюду: на лиманах и на фронтах, на всех золотых, бархатных, изумрудных, отрадных, ясных и уютных пляжах. Играет ли еще Эстер Каминская? Нет, ее не слышно. Далеко уехала или умерла – не знаю. Вряд ли сейчас взволнует кого-либо судьба Миреле Эфрос, гордой хозяйки дома. Но актрису помнят и вспоминают с любовью... Старый колонист спрашивал, что на Бугаевке, на Косарке, на полях орошения? Что ж, Косарка – в цветах, а поля орошения уже не принадлежат болгарским купчикам: там – большой совхоз. Бугаевка по-прежнему сера и неустроена. В Городском театре – украинская опера. Тенор Селявин уже не поет, ушел на покой. Отдыхает от полувековых трудов и главный дирижер Прибик. Старик Столярский продолжает выпускать талантливых мальчиков. Вы, должно быть, слышали у себя про Эмиля Гилельса и Бусю Гольдштейна. На джутовой фабрике делают, как и в старину, стальные и пеньковые канаты для кораблей. Дерутся ли там? Не тот рабочий, не те жены, не те игры, не те нравы. Иные школьные товарищи кончили университет; кто ушел в армию, кто стал директором, инженером. А колодец на Мясоедовской, 14, забросали землей и камнями. И дом Маразли, и мельница Инбера, и фабрика Попова, и морские ванны Тригера, и земли Ковалевского, и дачи Прокудина, Синицына, Натансона, Цудека – все принадлежит одному хозяину... Множество перемен, Александр.

– А помнишь, на Слободке было кладбище для самоубийц?

– Городских сумасшедших помнишь? Марьяшеса с его тростью? Хаву, которая с утра до вечера мыла руки? Гершеле Полоумного с его коляской?..

Неожиданно Гордон перебивает наш разговор, полный воспоминаний.

– Когда пароход шел обратно из Яффы, – говорит он задумчиво, – мы не могли насмотреться на команду. Евреи с Молдаванки стали матросами и механиками! Вы, должно быть, привыкли к таким вещам?

– Давно, – сказал я и смутился, разобрав в тоне своего ответа ноты превосходства.

– Черное море не хотело нас пустить, – продолжал Гордон. – Какой ураган! Море не шумело, а вулканизировало. Надо сказать, советские евреи выдержали испытание лучше библейских. Они боролись со шквалом, как великаны. Неужели с тех пор как я уехал, на нашей Молдаванке, среди ее тщедушных обывателей, завелись великаны? <...>

Посидим на скамейке. Помолчим.

